

• ДЕНИС ПОЖИДАЕВ •

# ПОСЛЕ

ПРОТОКОЛ

№ 0007

ВОПРОСЫ  
БЕЗ ОТВЕТОВ

ПАМЯТЬ  
НЕ УМИРАЕТ  
ОНА  
ПЕРЕХОДИТ

51.5074° N  
0.1278° W

$\Delta t \rightarrow 0$

$S \rightarrow k \log W$

$Q \rightarrow \delta Q / T$

ПЕРЕХОД —  
НЕ КОНЕЦ  
А СОСТОЯНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ



• НЕЗАМЕНИМОЕ •

СЕРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Денис Пожидаев

**Незаменимое**

«Автор»

2026

## **Пожидаев Д.**

Незаменимое / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Больничный пищеблок — бездушный конвейер. Повар Семён Лазарев работает у плит тридцать лет, считая себя лишь заменимым винтиком системы, где люди — номера диет, а еда — топливо. Но когда в хирургию попадает его успешный младший брат, привычная рутина дает сбой. Эта философская драма исследует границы человечности. История о том, как в масштабах холодного и расчетливого мироздания крошечный, немой жест заботы становится тем единственным, что способно оправдать существование Вселенной.

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

## Денис Пожидаев

# Незаменимое

Больница просыпалась тяжело, словно огромное, больное животное, но пищеблок не спал никогда. Семён Лазарев пришел на смену в начале шестого, когда за окнами еще стояла глухая темнота. В коридорах цокольного этажа висела густая, вязкая тишина, пахнувшая хлоркой, влажной штукатуркой и вчерашним компотом. Но за тяжелыми металлическими дверями с облупившейся краской уже гудели промышленные холодильники.

Семён нащупал выключатель. Холодный люминесцентный блеск мигнул, затрещал и залил пространство. Свет упал на влажный кафель пола, на нержавеющей сталь длинных разделочных столов, на массивные пищеварочные котлы, похожие на детали корабельного двигателя. Здесь не было ничего уютного, ничего от домашнего очага. Больничная кухня — это фабрика по переработке органики в топливо для ослабленных тел. Семён знал это лучше многих. Ему было пятьдесят восемь, и тридцать из них он провел у плит.

Он прошел в раздевалку, стянул через голову свитер. В помещении было зябко, но он знал, что через два часа здесь будет стоять невыносимая, влажная жара. Надел белую поварскую куртку, привычно закатав рукава. Взглянул на свои руки. Коротко остриженные ногти, въевшийся в кожу запах лука, который не выводило ни одно хозяйственное мыло, старый глянцевого ожог у правого запястья — память о пролитом масле. Фаланга указательного пальца сгибалась чуть хуже после давнего пореза. Это были руки инструмента. Рабочие, грубые, функциональные.

Семён вышел в холодный склад. Потянул на себя тяжелую дверь камеры. В лицо ударило ледяным воздухом, запахом сырой земли и подмерзшей капусты. Он выволок мешок моркови — тяжелый, пыльный, с засохшими комьями на грубых джутовых швах. Бросил его на деревянный поддон. Проверил ящики со свеклой, мешки с крупой. Все было на месте, но качество сырья, как всегда, требовало лишней возни.

Вернувшись в основной цех, он подошел к своему столу и достал рабочий нож с черной пластиковой рукоятью. Провел большим пальцем по кромке. Снова тупой. Вчерашняя смена опять рубила им замороженную рыбу или суставные кости, хотя для этого на магнитной ленте висел отдельный тяжелый тесак. Семён достал стальной мусат. Встал у стола и принялся править лезвие. Металлический лязг — вжик, вжик — коротко и сухо разнесся по пустой кухне.

В этом звуке не было злости или обиды на сменщиков. Только привычное утреннее раздражение, часть обязательной рутины. Такая же механическая процедура, как мытье рук или проверка накладных. Нож должен резать. Котлы должны греть. Люди наверху должны получить свои калории вовремя. Без этого больница остановится.

На железном столе у раздаточного окна лежали списки диет — утренние раскладки, присланные дежурными медсестрами из отделений. Семён отложил нож, вытер руки о фартук и пододвинул к себе стопку бумаг.

Листы были заполнены цифрами и таблицами. Больница мыслила столами. Стол номер один, стол номер пять, стол номер девять. Протертое, на пару, без соли, с пониженным содержанием углеводов. Для системы, управляющей этим зданием, пациенты не имели имен, лиц, страхов или привычек. Они имели номера палат и классификацию питания. Семён водил загрубевающим пальцем по строчкам, прикидывая в уме объем закладки продуктов. Пятьдесят порций жидкой овсянки. Восемьдесят порций парового мясного суфле. Сто двадцать порций слабого бульона.

Это была жестокая, но честная математика выживания. Передача энергии от склада к палате. Поддержание биологического существования. Семён Лазарев был оператором этой

передачи. Он не считал себя целителем, творцом или спасителем. Если бы кто-то спросил его о высоком призвании, он бы только отмахнулся.

Его палец медленно полз вниз по третьей странице. Хирургическое отделение, вторая палата. В колонке значилось сухое: «Стол №5».

Семён постоял несколько секунд, глядя на ровный, бездушный типографский шрифт. Затем полез в нагрудный карман куртки и достал огрызок простого карандаша. Наклонился над столом и рядом с пятым столом для второй палаты аккуратно, мелкими буквами дописал: «без лука».

Этого не было в медицинских назначениях. Норма питания не запрещала лук этому конкретному пациенту. Никакая должностная инструкция не требовала от повара менять общую рецептуру ради одного человека. Но Семён помнил: там, на койке у окна, лежал худой, тихий старик. От запаха вареного лука у него начинался спазм, он давился, но стеснялся сказать об этом вечно спешащим сестрам, чтобы не показаться капризным. Старик просто отодвигал тарелку и оставался голодным до самого вечера.

Семён не испытывал к нему великой гуманистической жалости. Он не думал о милосердии или любви к ближнему. В его картине мира все было проще: еда готовится для того, чтобы быть съеденной. Если человек не может есть лук — значит, его порцию нужно отлить в отдельную малую кастрюлю до того, как в общий котел пойдет за жарка. Это была не доброта в высоком, книжном смысле. Это была ремесленная точность. Точность, которую огромная система не могла учесть, потому что система мыслила категориями, площадями и объемами, а старик был незаметной частностью.

Семён убрал карандаш обратно в карман. Подошел к плите и зажег конфорки под двумя малыми котлами. Старая вытяжка над головой дернулась, загудела с тяжелым металлическим дребезгом и потянула застоявшийся воздух.

Начали подтягиваться остальные: заспанная кухонная рабочая в съехавшей косынке, помощник повара из молодых. Загремели кастрюли, с шумом ударила по нержавеющей воде из-под крана, запахло сырым мясом, мокрой крупой и горячим металлом. Пищеблок быстро набирал обороты, превращаясь в шумный конвейер, который не остановится до вечера.

Семён Лазарев встал к своей разделочной доске. Взял первую невымытую морковь из таза. Тупой нож после правки мусатом резал сносно, но все равно требовал лишнего усилия. Семён работал ритмично, тяжело, не отвлекаясь на пустые разговоры коллег. Он был частью этого механизма. Он искренне чувствовал себя заменимым элементом: если завтра у него остановится сердце, на его место встанет другой повар. Бульон продолжит вариться. Хлеб будет нарезан. Калории продолжают поступать в палаты по расписанию.

Он был уверен, что в его жизни нет ничего уникального. Он просто делал так, чтобы горячее оставалось горячим, а пресное не вызывало отвращения. И он не знал, что именно эта мелкая, почти автоматическая карандашная привычка помнить чужие дефекты — то единственное, что однажды заставит огромный, абсолютно правильный и холодный масштаб мироздания дать сбой.

В списке значилось «стол №5». Семён рядом дописал: «без лука». Этого в назначениях не было. Это было в человеке.

Морковь летела в гастроемкость. Оранжевые кубики ложились ровно. Вода в котле начала закипать, источая густой белый пар. Смена началась.

\* \* \*

Раздача завтрака в больнице всегда напоминала погрузку угля: быстро, шумно, без лишних сантиментов. К восьми утра у раздаточного окна пищеблока выстроилась очередь из санитарок и младших медсестер с тележками. На металлических поверхностях громоздились

стопки пластиковых подносов, контейнеры с жидкой овсянкой, бидоны с шиповником и нарезанный вчерашний хлеб.

Воздух в цеху стал плотным, влажным, тяжелым от запаха горячего молока и пресной каши. Семён Лазарев работал на линии выдачи. Его движения были скупыми и автоматическими. Правая рука с большим половником ныряла в гастроемкость, зачерпывала ровно двести пятьдесят граммов серой массы, переносила над столешницей — шлеп — в глубокую тарелку. Левая рука поддвигала тарелку по стальной направляющей дальше, к помощнику, который клал сверху кусочек масла.

— Пятый стол, вторая хирургия, — кричала с той стороны окна женщина в синем халате, сверяясь со списком на планшете. — Шесть порций. И один зондовый.

Семён кивнул, не поднимая глаз. Половник, каша, тарелка. Половник, каша, тарелка. Он слышал обрывки разговоров в коридоре. Голоса сливались в монотонный гул недовольства, привычный, как гудение вытяжки.

— Опять эта размазня, — громко жаловалась кому-то санитарка из кардиологии, загружая подносы в тележку. — У меня в пятой палате дед вообще отказывается это есть. Говорит, клейстер.

— А мои чай обратно отдают, — вторила ей другая. — Холодный, говорят. И хлеб как подошва.

Семён не обижался. Он знал, что они правы. Больничная еда не предназначена для того, чтобы радовать. Она создана, чтобы поддерживать функционирование организмов, лишенных возможности добывать пищу самостоятельно. Это рацион. Передача калорий, белков и углеводов в условиях жесткой экономии бюджета и технологических ограничений. Вкус здесь — непозволительная роскошь.

Он знал, что каша действительно пустая. Знал, что чай остывает, пока тележка едет по длинным коридорам третьего этажа. Знал, что хлеб вчерашний, потому что свежий привозят только к обеду. Он просто делал свою часть работы — переводил сырье в биомассу, пригодную для усвоения.

Раздача почти закончилась, основная масса тележек разъехалась по отделениям. Семён отошел от мармита, вытер пот со лба тыльной стороной руки и начал собирать пустые гастроемкости для мойки. В этот момент в дверях пищеблока появилась Лена — процедурная медсестра из реанимации.

Она выглядела измятой, как забытый в кармане бумажный платок. Глаза красные, под ними залегли глубокие синеватые тени. Форменный костюм сидел криво. Она только что сменилась после тяжелого ночного дежурства, где, судя по её виду, не присела ни на минуту.

— Семён Ильич, — голос Лены был тусклым, лишенным интонаций. — Осталось что-нибудь горячее? Меня сейчас просто выключит. А мне еще до остановки идти.

Она прислонилась плечом к косяку, обхватив себя руками, словно пыталась удержать тепло, которого в ней не осталось.

Семён молча развернулся к плите. Он не стал говорить «конечно, сейчас налью» или «как прошло дежурство?». Разговоры требовали энергии, а у Лены ее не было. Он снял с огня небольшой чайник, в котором держал заварку для персонала. Достал из шкафчика чистую фаянсовую кружку — не больничную пластиковую, а нормальную, тяжелую, с отбитым краем на ручке. Плеснул густой, почти черной заварки, долил крутым кипятком. Чай получился крепким, обжигающим, цвета темного янтаря.

Он подошел к раздаточному окну и поставил кружку перед медсестрой.

Рядом, на расстоянии вытянутой руки, стояла металлическая сахарница с торчащей из нее ложкой. Семён не спросил: «Вам сколько сахара?». Он не стал поддвигать сахарницу

ближе. Наоборот, он неуловимым, коротким движением сдвинул ее в сторону, убирая из поля зрения Лены.

Он не спросил про сахар. Вопрос был бы грубее памяти.

Семён знал: Лена пьет чай без сахара. Она никогда не говорила ему об этом прямо. Он не записывал это в блокнот. Он просто заметил это несколько месяцев назад. Заметил, что когда на отделение выдают рафинад или песок по норме, она всегда ссыпает свою порцию в карман халата или в отдельный пакетик. Не потому, что худеет или не любит сладкое. А потому, что потом, во время обхода, она отдает этот сахар тем пациентам, которым сладости не положены по диете, но которые смотрят на пустой чай с такой тоской, что у нее не выдерживают нервы. Она отдавала свой ресурс другим, а сама привыкла пить горечь.

Лена обхватила горячую кружку обеими руками. По ее лицу пробежала судорога облегчения, когда тепло от фаянса передалось замерзшим ладоням. Она сделала маленький глоток. Закрыла глаза.

— Спасибо, Ильич, — выдохнула она одними губами. — Прямо то, что надо.

Она пила медленно, маленькими глотками, и с каждым глотком ее плечи чуть опускались, напряжение уходило. Семён в это время отвернулся и принялся с силой оттирать металлическую столешницу жесткой губкой. Он не смотрел на нее. Смотреть, как человек восстанавливает силы, как он возвращается к себе через примитивный физиологический акт глотания горячей жидкости, — значило вторгаться в его личное пространство.

Семён не считал, что совершил добрый поступок. Он не утешал Лену. Не решал ее проблем. Не спасал пациентов в реанимации. Он просто выдал порцию горячей жидкости оператору медицинской системы, чтобы тот мог дойти до дома.

Но в том, как он не пододвинул сахарницу, заключалась странная, упрямая форма знания. Это была не просто передача калорий. Это было точное попадание в контур чужой привычки. Он помнил о Лене то, что не было зафиксировано ни в одном графике дежурств, ни в одной ведомости расхода продуктов.

Для системы Лена была штатной единицей. Для Семёна она была человеком, который пьет чай без сахара, потому что отдает его другим.

Он тер столешницу, стирая въевшиеся пятна каши, и думал только о том, что через час привезут свежее мясо, и его нужно будет быстро разделать, пока оно не потекло. Кружка звякнула о металл — Лена допила и ушла, оставив на дне немного темной заварки. Семён забрал кружку, бросил в раковину и включил воду. Еда снова стала функцией, а забота — рутиной, смытой в слив.

\* \* \*

Ближе к одиннадцати часам утра пищеблок перешел в фазу обеда. Влажный воздух, до этого пахнувший пресной овсянкой и хлоркой, налился тяжелым, густым духом вываренных костей, пассерованной моркови и капустного пара. Вытяжка гудела на пределе возможностей, но жара в цеху стояла такая, что по кафельным стенам медленно ползли мутные капли конденсата.

Семён Лазарев стоял у раздаточного стола, комплектуя индивидуальные порции для лежачих больных. Перед ним выстроились ряды глубоких металлических мисок. В правой руке он держал тяжелый стальной половник, левой придерживал край горячей кастрюли с супом. Движения были выверены десятилетиями: зачерпнуть, поднять, перенести, вылить. Ни капли мимо. Строго двести пятьдесят миллилитров.

Рядом, громыхая пустыми тележками для посуды, возилась Рита — молодая санитарка из терапевтического отделения. Девчонка лет двадцати, в огромных резиновых сабо на босу ногу

и выцветшем халате. Она собирала грязные подносы после завтрака и, как всегда, заполняла тишину кухни непрерывной, бессмысленной болтовней.

— Семён Ильич, вы бы хоть в отпуск не уходили в следующем месяце, — жаловалась Рита, с лязгом забрасывая пластиковые подносы в глубокую раковину. — Зуев ваш вчера опять все диеты перепутал. Диабетикам сладкий компот налил, язвенникам капусты навалил. Заведующая орала так, что в ординаторской стекла тряслись.

Семён молчал, продолжая ритмично разливать суп. Зуев был его сменщиком — поваром неплохим, но суетливым и равнодушным. Для Зуева больные сливались в одну безликую, вечно голодную массу, которую нужно было просто загрузить топливом до конца смены.

— Я вам честно говорю, — не унималась Рита, вытирая мокрые руки о подол халата. — Если вы уволитесь или на пенсию пойдете, тут всё вообще встанет. Развалится столовая. Без вас эта кухня просто рухнет. Вы тут единственный нормальный человек, на котором всё держится.

Семён слушал её вполуха. Ему были смешны эти разговоры про незаменимых людей. Он искренне не понимал, откуда в людях берется эта наивная вера в собственную исключительность.

Больница не рухнет. Пищеблок не остановится. Если завтра у него случится инфаркт, или он просто не выйдет на смену, система даст короткий сбой, заведующая напишет пару докладных, а через три дня у этого котла будет стоять другой человек в белом халате. Рецептуры утверждены Минздравом. Технологические карты висят на стене. Температура кипения воды не меняется от того, кто на нее смотрит. Повар — это просто биологический придаток к плите. Инструмент.

Столяр оставляет после себя табурет. Строитель оставляет стену. Повар не оставляет ничего. Вся его работа исчезает в тот же день, превращаясь в пустые, грязные тарелки, которые Рита сейчас швыряет в раковину. Его труд уничтожается в процессе потребления. Поэтому повар — самый заменимый человек на свете.

Семён пододвинул к себе следующую миску. На бортике был приклеен клочок малярного скотча с надписью маркером: «Пал. 12, койка 1».

Он опустил половник в суп. Зачерпнул. На поверхности мутноватого бульона, среди кубиков картофеля и редких волокон мяса, плавал крупный лавровый лист. Жесткий, темно-зеленый, с острыми краями, отдавший свой аромат воде и превратившийся теперь в бесполезный кусок древесной ткани.

Семён остановил руку над миской.

Двенадцатая палата, первая койка. Там лежал старик после тяжелого инсульта. Правая сторона лица у него провисла, глотательный рефлекс восстанавливался медленно. Две недели назад Семён проходил по коридору мимо открытой двери палаты и видел, как этот старик ел суп. В ложку попал лавровый лист. Жесткий край царапнул парализованную гортань, прилип к небу. Старик начал задыхаться. Он кашлял так, что побагровел, из глаз текли слезы, тонкие руки судорожно вцепились в край одеяла. Дежурная медсестра тогда успела вытащить лист, но страх остался.

Теперь старик боялся есть. Он по пять минут ковырялся ложкой в тарелке, делая вид, что просто остужает суп, а на самом деле — с ужасом выскивая в мутной жидкости темные жесткие листья. Никто из персонала этого не замечал. У них не было времени смотреть, как именно ест пациент.

Технологическая карта не запрещала лавровый лист инсультным больным. Химический состав супа оставался в пределах нормы. Для системы наличие листа в тарелке не являлось ошибкой.

Семён взял с края стола чайную ложку. Аккуратно, одним коротким движением, подцепил плавающий в половнике лавровый лист и сбросил его в металлическое мусорное ведро.

Он сделал это не из великого милосердия. Он не думал в этот момент о страданиях старика или о хрупкости человеческой жизни. Он просто исправлял дефект подачи. Его память хранила сотни таких бесполезных, микроскопических деталей: кто не пьет компот с изюмом, кто боится горячего, кто давится хлебной коркой. Система не могла хранить этот объем неформализованных данных. Семён — хранил.

Он вылил очищенный суп в миску старика.

— Да какой я нужный, — глухо ответил он Рите, не отрывая взгляда от котла. — Просто кормлю.

Он говорил «просто кормлю» так, будто кормить было действием без памяти. Будто он и вправду был лишь механизмом по перекачке калорий из нержавеющей емкости в пищеварительные тракты. Он был абсолютно уверен в своей правоте. В том, что его легко заменить. В том, что любой другой человек с половником сделает ровно то же самое.

И он не знал, что Зуев вчера не убрал лавровый лист. Зуев налил суп по норме. И старик в двенадцатой палате снова остался голодным, потому что страх оказался сильнее голода.

Семён отставил миску в сторону и взялся за следующую. Работа продолжалась. До конца смены оставалось еще шесть часов бесконечной, заменимой, исчезающей рутины.

\* \* \*

Около двух часов дня пищеблок впал в короткое, рваное оцепенение. Обед был выдан, гастроёмкости отправлены в мойку, и до начала подготовки к ужину оставалось около сорока минут относительной тишины. Вытяжка продолжала гудеть, но звон металла прекратился.

Семён Лазарев сидел на жестком табурете у своего стола и просматривал дополнительные листки назначений. Их приносили из отделений после утренних обходов, когда врачи корректировали диеты новоприбывшим или прооперированным пациентам. Бумага была дешевой, сероватой, текст слепо пропечатан на старом принтере.

Семён скользил взглядом по строчкам, машинально переводя фамилии в граммы и калории. Третья палата — нулевой стол, только жидкости. Пятая палата — перевод на общий.

Четвертая палата, вторая койка. Лазарев П. И. Стол 1а. Хирургическое вмешательство.

Семён остановил палец на этой строке. Буквы не изменились, но бумага вдруг показалась тяжелой. Павел. Его младший брат.

Они не созванивались около месяца. В их семье вообще не было принято часто звонить друг другу без дела, обмениваться пустыми новостями или поздравлять с мелкими праздниками. Семён знал, что у Павла давно были проблемы с желудком, что тот постоянно глотал какие-то таблетки на бегу, отмахивался от врачей и жил в своем вечном ритме срочности. Видимо, ритм дал сбой. Довел до скорой помощи и операционного стола.

Семён аккуратно отодвинул листок. Внутри не было паники или слезливой тревоги. Была только тяжелая, сосущая неловкость.

Павел всегда был другим. С самого детства он двигался быстрее, говорил убедительнее, смотрел дальше. Он уехал из их спального района, получил хорошее образование, стал человеком, которого замечают. Руководящая должность, костюмы, машина, телефон, который никогда не замолкает. Павел решал вопросы. Павел управлял процессами. Павел был тем, кого в семье негласно считали эталоном правильной, состоявшейся жизни.

Семён не завидовал. Зависть требует амбиций, а у Семёна их не было. Он принимал успех брата как закон физики — вода течет вниз, Павел идет вверх. Но это негласное сравнение всегда висело между ними. В редкие праздники, когда они собирались за одним столом, Семён чувствовал себя декорацией в чужом успешном фильме. Павел рассказывал о контрактах, о поездках, о людях, от которых зависело многое. Семёну было нечего рассказать, кроме того, что поставщик снова привез гнилую капусту.

Жизнь Павла была событием. Жизнь Семёна — функцией. Если Павел выпадет из своего графика, останутся проекты, люди потеряют деньги, нарушатся сложные социальные связи. Его отсутствие заметят сразу. Если Семён не выйдет на смену, заведующая просто поставит к плите Зуева.

И вот теперь этот успешный, незаменимый человек лежал здесь, на третьем этаже, в зоне ответственности больничного пищеблока.

Семён встал с табурета. Ему нужно было подняться туда. Этого требовал неписанный родственный долг. Но ноги казались ватными. Идти к Павлу означало пересечь границу между их мирами. Там, наверху, лежали пациенты — люди, которых лечили, спасали, вокруг которых суетились врачи. А Семён был обслугой. Темным кухонным механизмом, который существует где-то в подвале, среди сырости и пара.

Он вышел в коридор и нажал кнопку служебного лифта. Кабина пахла хлоркой и старым картофелем. Лифт медленно пополз вверх, скрипя тросами. Семён смотрел на обшарпанные двери и чувствовал, как внутри нарастает глухое сопротивление. Он не хотел видеть брата слабым. И еще больше он не хотел, чтобы брат видел его таким — в бесформенной белой куртке, пропахшим чужой едой, пришедшим не как равный, а как работник этого унылого заведения.

Лифт остановился на третьем этаже. Двери разъехались.

Хирургическое отделение встретило его стерильной тишиной, ярким светом люминесцентных ламп и запахом йодоформа. Здесь был другой мир. Чистый, пугающий, регламентированный. Медсестры в крахмаленных халатах бесшумно скользили по блестящему линолеуму.

Семён сделал шаг из лифта и остановился перед стеклянными двойными дверями, ведущими в коридор с палатами. До четвертой палаты оставалось метров двадцать.

Он вдруг остро, до физической тошноты, осознал, как он выглядит. Он опустил глаза. Увидел свои рабочие ботинки с белесыми разводами от соли и воды. Увидел мешковатые штаны. Увидел свои руки — красные от кипятка, с вьезшейся в микротрещины грязью от корнеплодов, с мелкой сеткой порезов и старым ожогом.

Семён Лазарев, пятьдесят восемь лет, повар. Младший брат, который старше по возрасту, но навсегда остался в тени.

Он машинально опустил ладони и с силой вытер их о свой рабочий фартук. Один раз, второй. Он тер руки о плотную ткань, будто этот жест мог снять с кожи вьезшийся запах жареного лука, дешевого жира и чужих пустых тарелок. Будто можно было стереть этот кухонный налет, прежде чем войти в палату к человеку «с будущим».

Это был жест не гигиены. Это был жест стыда. Стыда за свою малость, за свою абсолютную, очевидную заменимость перед лицом того, чья жизнь казалась по-настоящему важной.

Руки не стали чище. Запах никуда не делся. Он был частью его самого. Семён тяжело выдохнул, оторвал руки от фартука, толкнул стеклянную дверь плечом и пошел по светлому коридору к четвертой палате.

\* \* \*

Четвертая палата оказалась светлой, тесной и душной. Из четырех коек были заняты две. Возле окна, отвернувшись к стене, спал грузный мужчина, над которым мерно капала капельница. На второй койке, приподнятой в изголовье, полулежал Павел.

Семён остановился в дверях. Он привык видеть брата в движении. Павел всегда сидел прямо, ходил быстро, носил пиджаки, которые держали форму плеч, и говорил так, будто представлял точки. Тот человек, которого Семён знал всю жизнь, управлял пространством вокруг себя.

Человек на больничной койке пространством не управлял.

Павел казался меньше, тоньше, серее. На нем была безразмерная больничная рубаша с тесемками на груди. Из-под рукава тянулась прозрачная трубка к штативу. Лицо осунулось, кожа приобрела тот землистый, восковой оттенок, который всегда появляется у людей после глубокого наркоза и потери крови. Уверенность исчезла. Осталось только тело — уязвимое, поврежденное, подчиненное чужому расписанию.

Семён сделал шаг в палату.

— Здорово, — негромко сказал он.

Павел вздрогнул, медленно повернул голову. В его глазах на секунду мелькнула растерянность, которая тут же сменилась привычным, жестким выражением. Он попытался выпрямиться, подтянуться на подушках, но трубка капельницы натянулась, и он со сдавленным шипением откинулся назад.

— Привет, — голос Павла был слабым, надтреснутым. — Пришел, значит.

Он попытался улыбнуться, но вышло криво. В этой попытке Семён безошибочно прочитал жгучий стыд. Павел ненавидел быть слабым. И больше всего он ненавидел быть слабым перед Семёном. В их негласной иерархии Павел всегда был на вершине, а теперь он лежал здесь, привязанный к пластиковой трубке, и не мог даже сесть без посторонней помощи.

Семён подошел ближе. Он не знал, куда деть свои большие, пропахшие луком руки. Засунул их в карманы куртки.

— Как ты? — спросил Семён. Вопрос прозвучал глупо, по-дежурному, но других слов у него не было.

— Нормально, — отрезал Павел. — Врачи говорят, вовремя успели. Починили. Лежать теперь только, как бревно.

Он отвел взгляд. Разговор не клеился. Семён не умел говорить слова утешения, не умел гладить по руке или вздыхать над чужой бедой. Его сочувствие всегда было немым и практичным. Поэтому он перевел взгляд с лица брата на прикроватную тумбочку.

Там стоял стандартный пластиковый поднос, который Ритуля разносила час назад. На подносе — алюминиевая тарелка с протертым слизистым супом, рядом — пластиковый контейнер с бледным паровым суфле и кружка с отваром шиповника.

Еда была нетронутой. Суп уже давно остыл, покрывшись сверху матовой, полупрозрачной пленкой застывшего жира. Суфле заветрилось по краям.

Семён, как повар, видел эту еду насквозь. Это был стол 1а — максимальное щажение желудочно-кишечного тракта. Никакой соли, никаких специй, никакой текстуры. Только гомогенизированная, теплая масса, призванная доставить белок в поврежденный организм, не заставляя его работать. Это была идеальная функция. И это было абсолютно несъедобно для человека, который находился в сознании.

— Остыло всё, — глухо сказал Семён, кивнув на тумбочку. — Почему не ешь?

Павел поморщился.

— Не лезет.

— Надо есть. Без калорий швы не затянутся. Телу строить не из чего будет.

Семён произнес это без нажима, просто констатируя технический факт. Но Павла внезапно передернуло. Его раздражение, которое он сдерживал с момента пробуждения в реанимации, наконец нашло выход.

— Да как это жрать? — голос Павла сорвался на хрип. Он дернул здоровой рукой в сторону тумбочки. — Оно же воняет. Больницей воняет, тряпками какими-то, хлоркой. Оно как клей. Я в рот беру, и меня наизнанку выворачивает.

Он с силой толкнул поднос. Алюминиевая тарелка скрежетнула по пластику, суп плеснул на край. Павел отодвинул тарелку так, будто отодвигал не суп, а саму болезнь. Будто вместе с

этой серой массой он мог оттолкнуть от себя свою беспомощность, зависимость от чужих рук, запах йодоформа и невозможность встать и уйти.

Семён не обиделся за свою кухню. Он знал, что брат прав. Больничная еда действительно пахнет больницей. Пищевлок варит суп не для Павла Лазарева. Пищевлок варит объем. В этом объеме нет места для вкуса, потому что вкус требует индивидуальности, а система работает с классами.

Семён молча смотрел на тяжело дышащего брата. И в эту секунду он понял главное.

Павел не капризничал. Он не был избалованным гурманом, требующим ресторанного обслуживания. Он был унижен. Еда на этой тумбочке была ультимативным символом его поражения. Чтобы съесть эту безликую, слизистую кашу, Павел должен был признать себя тем, кем его считала больница — «послеоперационным телом». Он должен был сдаться. Принять, что он больше не управляет своей жизнью, а только потребляет то, что система сочла безопасным влить в его желудок.

Голод Павла боролся не со вкусом. Он боролся с утратой собственного достоинства.

Семён вытащил руки из карманов. Он не стал читать нотаций. Не стал говорить, что брат ведет себя как ребенок. Не стал обещать золотых гор. Слова были бесполезны. Любое слово сейчас прозвучало бы как жалость, а жалость добила бы Павла окончательно.

— Понятно, — коротко сказал Семён.

Он подошел к тумбочке, взял поднос с остывшей, нетронутой едой.

— Я заберу. Всё равно уже холодное.

Павел отвернулся к окну, тяжело сглотнув. Его челюсти были крепко сжаты. Он явно жалел о своей вспышке, но извиняться не умел.

— Иди, — бросил он, глядя на серое небо за стеклом. — Тебе работать надо.

Семён кивнул спине брата. Развернулся и вышел из палаты, унося с собой поднос с отвергнутой функцией. Он спускался обратно в подвал, в сырость и жар пищеблока, и в его голове уже не было мыслей о собственной заменимости. В его голове складывался точный, механический алгоритм того, что нужно сделать.

\* \* \*

Семён спустился на цокольный этаж. Пищевлок встретил его привычным гулом и влажной духотой. Он подошел к зоне мойки, сгрузил поднос на стальной стол и одним движением смахнул остывший слизистый суп в бак для пищевых отходов. Серая масса тяжело плюхнулась на дно.

Семён долго смотрел на пустую грязную тарелку. Грохот посуды, крики Риты, шипение пара из-под крышки большого котла — всё это на мгновение отошло на задний план. В его памяти всплыла картинка, такая же старая и выцветшая, как клеенка на столе в их родительской квартире.

Это было лет сорок назад. Маленькая кухня в панельной хрущевке на окраине города. За окном — темный ноябрьский вечер. Мать стояла у плиты и разливала по тарелкам густые, наваристые щи из квашеной капусты. Семёну было четырнадцать, Павлу — около девяти. Семён ел быстро, жадно, закидывая в рот куски черного хлеба вперемешку с обжигающим бульоном, не обращая внимания на то, как хлеб крошится и тонет в тарелке.

Павел ел иначе. Он всегда был привередливее, всегда что-то высматривал в еде, словно подозревал подвох. В тот вечер он случайно уронил кусок дарницкого хлеба прямо в горячие щи. Хлеб мгновенно напитался бульоном, разбух, потемнел и тяжело осел на дно.

Семён отлично помнил, как изменилось лицо брата. Павел перестал жевать. Он взял алюминиевую ложку и с брезгливой осторожностью, словно проводил хирургическую операцию,

подцепил разбухший ломоть. Вода текла с него мутными струйками. Мякиш превратился в рыхлую, бесформенную кашу, готовую развалиться от малейшего прикосновения.

Павел вытащил этот кусок и аккуратно, стараясь не запачкать стол, выложил его на самый край своей тарелки.

— Ты чего выкобениваешься? — строго спросила мать, останавливаясь с половником в руке. — Ешь давай. В хлебе вся сила.

— Не буду, — упрямо ответил маленький Павел. Он смотрел на размокший мякиш с искренним, почти физиологическим отвращением. — Это мокрая тряпка.

Семён тогда громко фыркнул, чуть не подавившись супом. Мать начала ругаться, вспоминать тяжелые времена, говорить о том, как стыдно переводить продукты, что отец на заводе спину гнет, а они тут харчами перебирают. Павел сидел молча, опустив голову. Он не спорил. Не плакал. Но когда мать отвернулась к плите, он продолжил есть щи, так и не притронувшись к раскисшему куску на краю тарелки.

В детстве Павел мог съесть почти всё, если голодный. Кроме хлеба, который перестал быть хлебом.

Эта деталь казалась микроскопической. Абсолютно неважной. Она не определяла судьбу Павла, не влияла на его карьеру, не делала его лучше или хуже. Это был просто детский сенсорный бзик, крошечный дефект восприятия, о котором давно забыла мать, которого не знали коллеги Павла, и который сам он, скорее всего, стер из памяти, заменив более важными взрослыми вещами.

Но Семён почему-то помнил.

Он стоял посреди больничного пищеблока, держа в руке влажную губку, и понимал, что именно лежало на тумбочке в палате брата. Диета 1а, эта правильная, сбалансированная, гомогенизированная масса, была для Павла абсолютным воплощением той самой «мокрой тряпки». Бесформенное нечто, лишённое структуры. Пища, которая потеряла свою первоначальную природу и стала просто влажным веществом, лишённым достоинства. Больничная еда унижала его не своим вкусом, а своей текстурой — текстурой полной беспомощности.

Чтобы Павел начал есть, ему нужно было вернуть структуру. Ему нужно было дать то, что не растекается. Что-то, что сопротивляется зубам. Что-то, что оставляет ему иллюзию контроля над процессом, хотя бы в масштабе одной ложки.

Ни один врач не написал бы этого в истории болезни. Ни одна технологическая карта пищеблока не учитывала текстурную неприязнь сорокалетней давности. Медицина лечила желудок. Медицине была важна только кислотность, температура и усвояемость. Медицина была большой, умной и правильной функцией.

Но функция не помнила, как девятилетний мальчик морщился от размокшего хлеба. Функция не умела различать братьев. Функция видела только пациента номер такой-то.

Семён отбросил губку. Его смена еще не закончилась, впереди была закладка продуктов на ужин, но он знал, что сейчас сделает. Он не собирался нарушать диету. Он не собирался жарить брату отбивную или кормить его запрещенными продуктами. Он просто собирался перевести медицинскую функцию обратно на человеческий язык.

Он подошел к шкафу с суточным запасом хлеба. Открыл скрипучую металлическую дверцу. Достал несколько кусков обычного белого батона, нарезанного еще утром. Хлеб уже начал черстветь, но Семёну это и было нужно. Он положил куски на небольшой стальной поднос и включил электрический духовой шкаф, стоявший в дальнем углу цеха.

Это была мелочь, которая казалась недостойной памяти. Но именно эта мелочь, этот пустяковый семейный сор соединял их сейчас сильнее, чем общая фамилия. Семён Лазарев не думал о том, что создает нечто уникальное. Он просто готовился выполнить свою работу с учетом того единственного факта, который знал только он.

\* \* \*

Основная раздача обеда завершилась. Кухонные рабочие с грохотом перекачивали пустые пятидесятилитровые котлы к моечным ваннам. Шум воды, бьющей под напором из шлангов, сливался со скрежетом металлических щеток. Пищеблок переваривал последствия своей главной дневной функции.

Семён Лазарев стоял в стороне от этой суеты, у малого стола, где обычно готовились индивидуальные порции для тяжелых аллергиков или зондовых больных. Перед ним стоял небольшой стальной сотейник.

Он не собирался творить кулинарное чудо. Он не собирался варить Павлу ресторанный консоме или воссоздать «вкус из маминого детства». Это было бы пошлостью, да и в условиях больничного пищеблока — технической невыполнимостью. В его распоряжении были только те продукты, которые выдал склад.

Семён взял половник и подошел к котлу, в котором томился базовый мясной бульон для хирургических отделений. Система варила его по правилам: долго, вываривая из костей и жил весь коллаген, все доступные микроэлементы. Для системы это был идеальный раствор белка. Но Семён знал, как этот раствор воспринимается изнутри палаты. Базовый бульон был тяжелым. Он пах вываренным мясом, мокрой шерстью и больничной тоской. На его поверхности плавали плотные, желтоватые круги жира. Здоровый человек съел бы это с хлебом и не заметил. Человека с послеоперационной тошнотой от одного этого запаха вывернуло бы наизнанку.

Семён зачерпнул половник базового бульона и перелил в свой сотейник. Вернулся к рабочему столу.

Дальше началась точная, почти механическая подгонка функции под конкретного человека.

Сначала он взял мелкое сито, выложил его двойным слоем чистой марли и процедил жидкость в другую емкость. На марле осталась серая белковая пена и микроскопические ошметки волокон — всё то, что придавало бульону мутность и больничный вид. Жидкость стала прозрачнее, но всё еще оставалась тяжелой.

Семён включил малую конфорку и поставил сотейник на слабый огонь. Взял плоскую шумовку. Он стоял над плитой и методично, миллиметр за миллиметром, снимал с поверхности бульона мельчайшие жемчужины жира. Жир обволакивает гортань. Жир оставляет солевое послевкусие. Жир заставляет ослабленный желудок сокращаться. Семён убирал его до тех пор, пока поверхность жидкости не стала абсолютно гладкой, как зеркало.

Затем он подошел к титану с кипятком. Налил в кружку немного горячей воды и плеснул в сотейник. Это было грубое нарушение технологической карты — разбавлять готовый продукт водой. Но Семёну нужно было сбить концентрацию. Ему нужно было убить тот самый агрессивный запах вываренной плоти, на который жаловался Павел. Разбавленный бульон потерял часть калорийности, но зато перестал пахнуть больницей. Он стал пахнуть просто теплом.

Оставалось самое сложное. Соль.

Диета 1а предписывала полное отсутствие соли. Натрий хлорид задерживает воду и раздражает слизистые. Но несоленая теплая жидкость биологически отвратительна. Она напоминает температуру тела и вызывает непроизвольный рвотный рефлекс. Павел не смог бы проглотить и двух ложек.

Семён тщательно вытер руки вафельным полотенцем. Открыл пластиковый контейнер с солью. Он не стал брать ложку. Он опустил в контейнер три пальца и захватил микроскопическую щепотку — буквально несколько кристалликов. Поднес руку к сотейнику и медленно потер пальцы друг о друга.

Это была доза, которая не могла навредить швам. Она не могла отразиться в анализах. Но она должна была обмануть рецепторы. Соль должна была дать жидкости структуру вкуса,

обозначить границу между бульоном и просто теплой водой. Семён балансировал на самом краю между медицинским запретом и человеческой физиологией.

Когда кристаллы растворились, он взял чистую чайную ложку. Зачерпнул немного жидкости. Подул на металл.

Он закрыл глаза и сделал глоток.

Он не искал кулинарной гармонии. Он не оценивал богатство оттенков или правильность навара. Он симулировал глотание поврежденным горлом. Он пробовал бульон не на вкус. На сопротивление тела.

Жидкость скользнула вниз. Она не обожгла пищевод — температура была около сорока градусов, чуть выше температуры тела, чтобы не вызывать термического шока. Она не оставила соляной пленки на корне языка. Она не ударила в нос тяжелым духом. И в ней была та едва уловимая, призрачная солоноватость, которая заставляет слюнные железы принять пищу, а не отторгнуть ее.

Бульон не был вкусным. Он был безопасным. Он был идеально подогнан под раздраженную, уязвленную слабость Павла.

Семён открыл глаза. Бросил ложку в раковину.

Он взял чистую фаянсовую пиалу — не алюминиевую миску, которая скрежещет по подносу и напоминает тюремную пайку, а нормальную, тяжелую белую посуду. Аккуратно перелил в нее жидкость из сотейника. Бульон получился светлым, прозрачным, с легким золотистым оттенком. В нем не было ничего великого. Это была базовая органическая функция, очищенная от казенной агрессии.

Еда, которая всю жизнь была для Семёна рутиной, килограммами и нормами закладки, сейчас впервые стала формой точного знания о другом человеке. Знания, которое невозможно было передать словами, записать в карточку или поручить Зуеву.

Семён поставил пиалу на чистый пластиковый поднос. В дальнем углу цеха звякнул таймер духового шкафа. Сухари были готовы. Семён вытер руки о фартук и пошел к духовке.

\* \* \*

Семён подошел к электрическому духовому шкафу. Старая промышленная печь гудела ровно и мощно, источая сухой, плотный жар. Он натянул на правую руку толстую брезентовую рукавицу, потемневшую от времени и жира, повернул тугую карболитовую ручку и потянул тяжелую дверцу на себя.

В лицо ударила волна раскаленного воздуха, пахнувшего поджаренной дрожжевой закваской. На металлическом противне лежали несколько кусков нарезанного белого батона. Они изменились. Влага полностью ушла из мякиша. Края слегка загнулись, поверхность приобрела бледно-золотистый, матовый оттенок. Хлеб перестал быть мягким, податливым продуктом. Он кристаллизовался.

Семён вытащил противень и бросил его на железный стол. Сухари сухо, почти стеклянно звякнули о металл.

С точки зрения больничной диетологии сухарь был идеальным компромиссом. Свежий хлеб после операций на желудочно-кишечном тракте категорически запрещался: он сбивался в тяжелый ком, бродил, вызывал боли и спазмы. Высушенный хлеб, лишенный влаги и прошедший термическую обработку, усваивался легче, давая необходимую углеводную базу без агрессивных последствий для слизистой. Это была чистая, понятная функция. Топливо в безопасной форме.

Семён снял рукавицу и бросил ее на полку. Он взял один сухарь голыми пальцами. Тот был еще горячим, жестким, шершавым. Семён постучал ногтем по корочке — звук вышел

глухим и коротким. Структура была восстановлена. Это больше не была рыхлая масса. Это был предмет, сопротивляющийся давлению.

На раздаточном столе уже стоял подготовленный пластиковый поднос. На нем — белая фаянсовая пиала с тем самым прозрачным, избавленным от лишнего жира и больничного запаха бульоном. Рядом лежала чистая алюминиевая ложка.

Семён шагнул к подносу, держа сухарь в правой руке.

Тридцать лет работы на больничной кухне выработали в нем стальную, неосознанную моторику. За эти годы он накормил тысячи стариков, тысячи тяжелых, ослабленных послеоперационных больных. У многих из них не было зубов. У многих был нарушен глотательный рефлекс. Жесткая пища была для них непреодолимым препятствием. Поэтому профессиональный инстинкт повара в таких случаях диктовал одно-единственное правильное действие.

Сухарь нужно было размочить.

Его нужно было бросить прямо в горячую жидкость. Там, впитав в себя тепло и влагу, он за минуту превратился бы в мягкую, безопасную кашу, которую легко проглотить без жевания. Так требовала логика больничного ухода. Так было безопаснее. Так было правильно для девяноста девяти пациентов из ста.

Рука Семёна, подчиняясь этой тридцатилетней мышечной памяти, двинулась вперед.

Он уже занес сухарь над тарелкой. Над гладкой, подрагивающей поверхностью золотистого бульона. Достаточно было просто разжать пальцы. Сухарь упал бы в жидкость, поднял бы легкую рябь, мгновенно потемнел, напитался влагой и тяжело осел на дно. Он превратился бы в идеальную диетическую углеводную добавку.

И в ту самую «мокрую тряпку».

Семён остановил руку. Сухарь завис в пяти сантиметрах над поверхностью бульона.

В цеху продолжала гудеть вытяжка. Где-то в моечной с грохотом упала металлическая крышка. Помощник повара громко ругался, пытаясь оттереть присохшую кашу от дна котла. Мир вокруг не замер. Ничего торжественного не происходило. Просто пожилой, уставший человек в грязном фартуке замер над пластиковым подносом.

Семён смотрел на сухарь в своих пальцах. Если он бросит его в суп, Павел не скажет ни слова. Павел просто посмотрит на эту разбухшую, бесформенную массу. И не притронется к ней. Потому что в этой массе он снова увидит свою собственную беспомощность. Увидит, что его тело теперь так же лишено структуры, так же размякло и зависит от чужой среды.

Семён знал: Павел не попросил бы сухарь. Павел вообще ничего бы не попросил. Гордость и стыд заблокировали в нем любую способность к диалогу о собственных нуждах. Если бы Семён принес ему пустой бульон, Павел бы выпил его. Если бы принес с размокшим хлебом — отодвинул бы. Но сам бы не сказал ни слова.

Большая система не оставляет человеку права на такие мелкие, нерациональные границы. Для системы пациент — это объект, принимающий калории. Система не обязана помнить о том, что происходило на тесной кухне в хрущевке сорок лет назад.

Семён медленно, с усилием, преодолевая сопротивление собственной профессиональной привычки, отвел руку в сторону.

Он не положил хлеб в бульон.

Он взял с полки крошечное фаянсовое блюдце — из тех, на которые обычно кладут дольку лимона для главврача. Поставил его на поднос, рядом с пиалой. И бережно, чтобы не стряхнуть крошки, опустил сухарь на это сухое, белое блюдце.

Сухарь остался отдельно.

Жесткий. Шершавый. Сохранивший свою форму и свою границу.

Действие было настолько ничтожным, что его невозможно было бы внести ни в один отчет. Оно не стоило ни копейки больничному бюджету. Оно не требовало героизма. Но в

этот самый момент, в гудящем, пропахшем капустой пищеблоке, произошло то, что позже откажется сжиматься до функции.

Семён не думал об онтологии. Он не знал, что создает несводимое событие. Он просто выдохнул, почувствовав странное, мимолетное облегчение, будто решил сложную техническую задачу. Он поправил алюминиевую ложку, чтобы она лежала ровно параллельно краю подноса.

Осмотрел результат. Белая пиала с теплым бульоном. Блюдец с сухарем. Ничего лишнего. Ничего, что могло бы унижить. Никакой навязчивой заботы, кричащей о милосердии. Просто еда, которая учитывала человека.

Семён Лазарев взялся за края подноса. Поднял его. Тяжелые рабочие ботинки скрипнули по влажному кафелю. Он развернулся и толкнул спиной тяжелую металлическую дверь пищеблока, выходя в тускло освещенный коридор к служебному лифту.

Он шел кормить брата. Событие уже произошло, хотя ни один из них еще об этом не догадывался.

\* \* \*

Семён толкнул дверь четвертой палаты плечом. Пластиковый поднос в его руках лежал ровно, без малейшего крена.

В палате ничего не изменилось. Сосед у окна по-прежнему спал, отвернувшись к стене, изредка тяжело всхрапывая. Павел лежал в той же позе — напряженный, вытянутый, с плотно сжатыми губами. Глаза его были открыты. Он смотрел в потолок тем немигающим, пустым взглядом, которым люди смотрят, когда пытаются изолировать себя от собственного болящего тела.

Семён подошел к тумбочке.

Павел скосил глаза на поднос. Его челюсти дрогнули, под бледной кожей перекатились желваки.

— Я же сказал, мне ничего не надо, — голос Павла прозвучал сухо, с той металлической ноткой глухого раздражения, которой он в своей обычной жизни обрывал нерадивых подчиненных. — Унеси.

Это была защита. Грубая, автоматическая защита человека, который привык, что любое его слово исполняется немедленно. Он не был голоден в привычном смысле — боль, стресс и медикаменты наглухо подавили аппетит. Но его истощенное тело нуждалось в топливе, и это физиологическое противоречие злило его еще больше.

Семён не стал спорить. Он не сказал: «Тебе надо поесть». Не сказал: «Я приготовил это специально для тебя». Не начал объяснять, что бульон особенный. Любые уговоры сейчас превратили бы Семёна в сиделку, а Павла — в капризного, неразумного ребенка. Это разрушило бы последние остатки его достоинства.

Семён молча сдвинул на край тумбочки пустую упаковку от салфеток и поставил поднос. Пластик мягко стукнул о столешницу.

Павел хотел отвернуться к стене, но его взгляд помимо воли зацепился за поднос. Там не было серой слизистой массы. Не было заветрившегося суфле. В белой фаянсовой пиале слегка подрагивал прозрачный, чистый бульон. От него не поднимался тяжелый дух вываренных костей и больничного жира. Он пах только едва уловимым теплом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.